



С. П. МЕЛЬГУНОВ

Император Александр I

<Фрагмент>

<...> История давно уже сделала из императора Александра I своего рода историческую загадку: «Сфинкс, не разгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь», — сказал еще кн. П. А. Вяземский об Александре. И в самом деле, как объяснить «противоречия», которыми так богата вся деятельность Александра? Как объяснить удивительное совмещение «благородных» принципов ранних лет с позднейшей жестокой аракчеевской практикой? Дано немало уже объяснений этой непонятной и сложной психики соперника Наполеона, вызывавшего самые противоречивы характеристики со стороны современников. Прежняя историография как бы реабилитировала перед потомством личность Александра. «Мы примиряемся с его личностью, потому, — писал Пыпин¹ в своих очерках «Общественное движение», — что в источнике его недостатков находим не дурные наклонности, а недостаток воспитания воли и недостаток понимания отношений, что в глубине побуждений его лежали часто наилучшие стремления, которым не доставало только школы и благоприятных условий». Александр был «одним из наиболее характеристических представителей» своего времени: «Он сам лично делил различные настроения этого времени и то брожение общественных идей, которое начинало тогда проникать в русскую жизнь, как будто отражалось в нем самом таким же нерешительным брожением. Так, сперва он мечтал о самых широких преобразованиях, о каких только думали самые светлые умы тогдашнего русского общества: он был либералом, приверженцем конституционных учреждений... в другое время, смущаясь перед действительными трудностями и воображаемыми опасностями, он становился консерватором, реакционером, пиэтистом». Теми «трудными положениями», которые ставила Александру сама жизнь, Пыпин в значительной степени готов был

объяснить двойственность и неуверенность в характере Александра. Он был всегда искренен, когда в одно и то же время колебался между двумя совершенно различными настроениями. Та «периодичность воззрений», которую отмечает Меттерних, не являлась выражением какого-то сознательного лицемерия. Его внутренние тревоги даже в период реакционной политики показывают в нем не бессердечного лицемера или тирана, каким его нередко изображали, а человека заблуждавшегося, но способного вызвать к себе сочувствие, потому что во всяком случае это был человек с нравственными идеалами. Еще более теплую характеристику Александра дал Ключевский в своем знаменитом литографированном курсе: «Александр был прекрасный цветок, но тепличный, не успевший акклиматизироваться на русской почве: он рос и цвел роскошно, пока стояла хорошая погода, наполняя окружающую среду благоуханием, а как подула северная буря, как настало наше русское осеннее ненастье, этот цветок завял и опустился». Александр был воспитан в политических идиллиях, у него не было необходимого «чутья действительности», и те «слишком широкие мечты», с которыми он вступил в правительственную деятельность, разбились о встреченные препятствия, о незнание практической жизни. Неудачи вызывали утомление и раздражение.

Таков был «коронованный Гамлет», как назвал Александра Герцен. В духе этой прежней историографии характеризует Александра и автор новейшей его биографии профессор Фирсов². Александра нельзя изображать, как «двуличного деятеля, как хладнокровного хитреца». Это была сложная, хрупкая психическая организация. Александр явился «моральной жертвой русской истории XVIII века, точнее — истории русского престола». Это — жертва среды; это — монарх, «морально не вынесший самодержавной власти, унаследованной им при помощи дворцовой революции со смертельным исходом для царствующего государя». Физическая гибель Павла повлекла за собой моральную гибель Александра. «Вечное терзание совести» надломило хрупкую психическую организацию. Поэтому судьба Александра полна самого «трогательного драматизма». «Я должен страдать, ибо не в силах уврачевать мои душевные муки», — говорил Александр Чарторийскому. И Александр страдал, но изверившись, все-таки не перестал видеть в «благородных принципах» идейную красоту, и они продолжали сохранять в его глазах известное эстетическое значение. Он «сохранил их в глубине своей души, лелея и оберегая от постороннего влияния, как тайную страсть, которую он не решался раскрыть перед обществом, не способным понимать его»...

Однако как проникнуть взором историка в то, что оберегается, как тайная страсть, в сферу «мистических созерцаний и покаянных

молить»? Слишком уж субъективен будет при таких условиях психологический анализ исторических деятелей. Быть может, современная скептическая историография в своем «иконоборстве», как выразился кн. Вяземский, понижает «величавость истории и стирает с нее блеск поэтической действительности», но зато она оперирует только над реальными фактами. И число таких фактов, входящих в оборот исторических изысканий, с каждым годом увеличивается. Когда Пыпин писал свой очерк, он должен был сделать оговорку, что «подробности истории Александра еще слишком мало известны», для того чтобы определенно объяснить резкие «противоречия», с которыми мы постоянно встречаемся в характере Александра и в его деятельности, и в отзывах о нем современников. История Александра еще далека, конечно, и теперь от полноты. Но многое из того, что прежде было неясным, достаточно вырисовывается уже на фоне новых изысканий. И, быть может, прежде всего та искренность Александра, в которую веровала прежняя историография, значительно потускнела под скальпелем современного исторического анализа; и все рельефнее под ним выступает оборотная сторона медали, которая омрачала на первых же порах «дней александровых прекрасное начало». Многие из отрицательных черт Александра, отмеченные современниками, найдут себе конкретное подтверждение в действительности, очень далекой от осуществления «благородных принципов» и идеальных мечтаний в юной молодости.

Мы не будем останавливаться на подробностях воспитания Александра, в достаточной степени выясненного в литературе. Это «заботливое» воспитание согласно всем правилам тогдашней философской педагогики действительно чрезвычайно мало содействовало выработке сознательного и вдумчивого отношения к гражданским обязанностям правителя: Александра, по меткому выражению Ключевского, как «сухую губку, пропитывало дистиллированной и общечеловеческой моралью», т. е. ходячими принципами, не имеющими решительно никакого отношения к реальным потребностям жизни. В лице своей бабки он видел, как модные либеральные идеи прекрасно уживаются с реакционной практикой, как, не отставая от века, можно твердо держаться за старые традиции. От своего воспитателя, республиканца Лагарпа, он в сущности воспринимал то же умение сочетать несовместимое — либерализм со старым общественным укладом. Лагарпа по справедливости можно назвать «ходячей и очень говорливой французской книжкой», проповедовавшей отвлеченные принципы и в то же время старательно избегавшей касаться реальных язв, разъедавших государственный и общественный организм России. Республиканский наставник в практических вопросах

был в сущности консерватором, отговаривавшим позже Александра от коренных реформаторских поползновений. Его идеалом было «разумное самодержавие». Как республиканство Лагарпа уживалось и мирилось с деспотическим правлением, так и теоретическое вольнодумство Александра, вынесенное из юных лет, было очень далеко от искреннего либерализма. В этом отношении Александр был типичным сыном своего века, когда отвлеченное вольтерьянство самым причудливым образом соединялось с ухищренными крепостническими тенденциями. В «Азбуке изречений», составленной Екатериной, Александр вычитывал прописную мораль: «По рождению все люди равны»; в ходячих сентенциях Лагарпа ему открывались и другие непререкаемые догматы французских просветителей, и никто не проявлял в задушевных разговорах такой «ненависти» к деспотизму и «любви» к свободе, как Александр в юношеские годы. Он давал клятвенное обещание «утвердить благо России на основании непоколебимых законов», вывести несчастное отечество со стези страданий путем установления «свободной конституции». Он считал «наследственную монархию установлением несправедливым и нелепым, ибо неограниченная власть все творит шиворот-навыворот». «Я никогда не привыкну царствовать деспотом». Единственное «мое желание, — говорит он Лагарпу в 1797 г., — предохранить Россию от поползновений деспотизма и тирании». Лагарп «в течение целого года» не слышал от Александра слов «подданные и царство», он говорил о русских, называя их «соотечественники» или «сограждане», и т. д. Таков Александр юноша в своих интимных беседах и мечтах... Но не забудем, что в это время ничто не могло снискать Александру большей популярности, как подобные признания...

Если через Лагарпа Александр приобщался к «лакомствам европейской мысли», то через другого его воспитателя М. Н. Муравьева³ в него усиленно внедрялось сентиментально-романтическое чувство, столь же характерное для эпохи. Напрасно в этом сентиментализме искать искренних эмоций. Их не могло быть, так как характерная черта сентиментализма именно «беспредметная чувствительность». Самые ничтожные причины вызывают аффект, завершающийся слезоизливанием. Люди способны сидеть часами в глубокой меланхолической задумчивости, плакать, как Карамзин, когда сердцу «очень весело». Иногда совершенно непонятно, откуда у современников могла явиться эта слезоточивость. Происходит шумный праздник в Смольном институте. Гремит музыка, кругом иллюминация, на сцене веселый балет — и все плачут, как сообщает Карамзин своему другу Дмитриеву. Этот ухищренный сентиментализм, в свою очередь, прекрасно уживался с барственным укладом жизни. Любопытно, что

сентименталисты были по преимуществу и крепостниками. И даже Аракчеев, отличавшийся редкой жестокостью, истязавший своих крестьян, собственноручно вырвавший усы у солдата во время смотра, весьма склонен был к сентиментальной чувствительности: он мог прослезиться при чувствительном рассказе и любил на ряду с самой изысканной порнографией почитать книжку «О пользе слез» и т. д.

Детство приучило и Александра к этой чувствительности. Муравьев развивал перед ним свои сентиментально-дидактические идиллии о любви к человеку. И Александр любил, как рассказывает Чарторийский, в духе модного сентиментализма мечтать о сельском уединении, восторгаться полевым цветком, бытом поселян. Сельский пейзаж легко вызывал в нем разговоры о бренности и суетности жизни, и он выражал охоту даже уступить «свое звание за ферму». Я «жажду лишь мира и спокойствия», написал он Лагарпу в 1796 г. Можно было бы подумать, что инертность природы заставляет мечтать о «ленивых досугах спокойной жизни». Этой инертности отнюдь не было у Александра, как мы отчетливо увидим дальше. Не было и той «особенной глубины», которую видела Екатерина в природе своего внука. Его чувствительность была, скорее, наносного характера, как вся позднейшая мистика. Он сохранял чувствительность до конца жизни, и в нем она уживалась так же, как и у других, с проявлением большой подчас жестокостью. Александр — «сама добродетель», говорит о нем Екатерина. Однако эти обычные суждения о личной мягкости Александра в значительной степени опровергаются его поступками. Он горько плачет, когда И. И. Дмитриев докладывает ему о жестоком обращении помещицы с дворовой девкой: «Боже мой! Можем ли мы знать все, что у нас делается», — с горечью воскликнет он. Но затем Александр узнает, что ген. Тормасов⁴ келейно наказал розгами дворового Кириллова, который позволил себе на Тверском бульваре в Москве произнести «неприличные слова» насчет помещиков. «Неприличные слова» заключались в разговоре о вольности и независимости крепостных людей. Александр вознегодует на слабость Тормасова: за «столь буйственный дерзновенный поступок следовало наказать наистрожайшим образом и публично». Александр будет рыдать в объятиях Магницкого, когда тот будет докладывать о состоянии, в котором пребывает Казанский университет; он будет проливать «обильные слезы» в назидательной беседе с пифией бар. Крюденер⁵; его лицо оросится слезами в беседе с прибывшими в Петербург квакерами; он будет плакать, слушая, как Шишков читает свои глубокомысленные выкладки, почерпнутые из Священного Писания для объяснения современных событий, и т. д. Он будет беседовать с квакерами о спасении души и веротерпимости,

говорить в официальных указах, что человеческие заблуждения нельзя исправлять насилием, а лишь просвещением и кротостью. Будет выслушивать проповеди «искупителя» — скопца Кондратия Селиванова⁶, и тут же, вопреки решению военного суда, прикажет наказать солдат скопцов батогами. Когда до Александра дойдет известие об усмирении Аракчеевым в 1819 г. бунта в чугуевских военных поселениях, — усмирения, во время которого многие умерли под шпицрутенами, Александр в ответном письме всецело одобрит своего друга и выскажет лишь сожаление о тех волнениях, которые должна была претерпеть «чувствительная душа» Аракчеева. Когда ему будут говорить о вреде военных поселений, он скажет свою знаменитую фразу: «Они будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова».

Как, однако, характерны эти мелкие штрихи для обрисовки светлого идеализма Александра. Приходится поверить ген. С. А. Тучкову⁷, отмечавшему прирожденную жестокость Александра. Но Александр умел скрывать свои наклонности. Если «прекрасная Като», как называл Екатерину Вольтер, обладала редким даром обольщения людей, то, быть может, ее внук обладал им еще в большей степени. Уже в детстве Александр необыкновенно «обходителен». Это — «редкий экземпляр красоты, доброты и смысленности», писала о нем Гримму Екатерина. «О! он будет любезен, я в этом не обманусь» — эти слова относились к трехлетнему Александру. И действительно, Александр умел подходить к людям, умел им внушить по первому впечатлению симпатии и даже восторг. «Это сущий прельститель», — сказал о нем Сперанский. Это «привлекательная особа, очаровывающая тех, кто соприкасается с ним», повторил то же Наполеон Меттерниху. Привлекательность наружности Александра сама по себе уже вызывала такое обольщение, и особенно среди женщин. «Грациозная любезность» Александра, его «умильная почтительность», «величественный вид», «бесчисленное множество оттенков» в голосе и манеры, отмечаемые графиней Шуазель⁸, чудные, красивые «позы античных статуй», «глаза безоблачного неба», — все это придавало внешнее обаяние его фигуре. Система воспитания и условия, при которых протекали его юные годы, лишь изощрили эти природные черты. Он поражал своей «обходительностью» в три года, когда воспитание и среда не могли еще оказать влияния. Затем ему пришлось пройти хорошую школу угождения властолюбивой бабке и подозрительному отцу. И тут помог воспитатель, опытный царедворец Н. И. Салтыков. Александр прекрасно умел лавировать между салоном Екатерины и гатчинской казармой Павла. Ему приходилось жить «на два ума, — говорит Ключевский, — держать две парадные физиономии». Это, правда,

была хорошая школа скрытности и неискренности, но школа, которую легко было пройти Александру: и в салоне и в казарме он чувствовал себя как дома. От перемены он отнюдь не попадал в «страдательное положение», и тяжелая «служба» при Павле не могла надломить его «восторженной и благородной натуры». Как ни странно, но восторженный поклонник просветительской философии был страстный любитель всякого рода фронтовых обязанностей. Очевидно, это была врожденная, наследственная черта, — черта, отличавшая деда и дошедшая да нелепых пределов при отце. Эту любовь к «милитаризму» в юные годы отмечает нам и воспитатель Александра Протасов⁹ в 1793 г. Александр жалуется Лагарпу, что при Павле «капрал» предпочитается человеку образованному и полезному, но и сам предпочитает Аракчеева любому из своих друзей.

Любовь к военным экзерцициям Александр сохранил на всю свою жизнь, уделяя им наибольшее время, и она, в конце концов, обращается действительно в «парадоманию», как назвал эту склонность Александра Чарторийский. Молодой царь в период мечтаний о реформе одинаково занят и своими фронтовыми обязанностями. Так, в 1803 г. он дает свое знаменитое предписание: при маршировке делать шаг в один аршин и таким шагом по 75 шагов в минуту, скорым по 120 «и отнюдь от этой меры и каденсу ни в коем случае не отступать». Ген. С. А. Тучков в своих записках дает очень яркую картину казарменных наклонностей Александра, когда в 1805 г. автор записок попал в Петербург. Его двор, рассказывает Тучков, «сделался почти совсем похож на солдатскую казарму. Ординарцы, посыльные, ефрейторы, одетые для образца разных войск солдаты, с которыми он проводил по несколько часов, делая заметки мылом рукою на мундирах и исподних платьях, наполняли его кабинет вместе с образцовыми щетками для усов и сапог, дощечками для чищения пуговиц и других подобных мелочей». Беседует Александр с Тучковым на тему, что ружье изобретено не для того, чтобы «им только делать на караул», и вдруг разговор сразу прерывается, так как Александр увидел, что гвардия при маршировке «недовольно опускает вниз носки сапогов». «Носки вниз!» — закричал Александр к флангу. Александр целыми часами в это время мог проводить в манеже, наблюдая за маршировкой: «Он качался беспрестанно с ноги на ногу, как маятник у часов, и повторял беспрестанно слова: “раз-раз” — во все время, как солдаты маршировали». В то же время Александр тщательно смотрел, чтобы на мундире было положенное число пуговиц, зубчатые вырезки клапана заменяет прямыми и т. д. Помимо Тучкова мы имеем немало и других аналогичных свидетельств. Александр в этом отношении совершенный отец. Он всегда готов заниматься

смотреми: даже в Вильне в июне 1812 г. разводы занимают первое место. На смотрах Александр видит только наружность: стойку, вытянутый носок, неподвижность плеч, параллелизм шеренги, как сообщает позднее в 1820 г., ген. Сабанеев¹⁰, сам большой фронтовик. В.И. Бакунина¹¹ рассказывает в своих воспоминаниях, как 13 января 1812 г. арестовываются все офицеры третьего батальона пешего полка за «плохую маршировку». Был сильный мороз, и офицеры озябли... Какая же разница между Павлом и Александром? Хорошо известен случай, столь сильное впечатление произведший на И. Д. Якушкина¹² в 1814 г., когда Александр бросился с обнаженной шпагой на мужика, пробежавшего через улицу перед лошадью императора, готовившегося отдать честь императрице. Блестящий маневр по всем правилам искусства не удался, и это взорвало всегда столь сдержанного Александра. Чем дальше, тем больше. И, в конце концов, «разводы, парады и военные смотры были почти его единственные занятия» (Якушкин). Они настолько поглощали его, что в 1824 г., узнав о смерти дочери Софьи Нарышкиной¹³, он заливается слезами, но тем не менее отправляется на учение и, только окончив его, идет поклониться праху умершей... Вероятно, и военные поселения, достигшие под аркчеевской палкой изумительных совершенств в делах военной экзерциции, Александр любил преимущественно за эту сторону, которая так радовала его душу. Константин Павлович, большой любитель «гатчинской муштры» и аракчеевской шагистики, искренно восторгался теми «штуками», которые на смотрах проделывала французская армия, и тот ужасался теми крайностями, к которым приводило увлечение Александра фронтом. В 1817 г. он выразил даже уверенность, что гвардия, поставленная на руки ногами вверх, а головой вниз, все-таки промарширует — так она вышколена и приучена танцевальной науке.

Быть может, любовь к фронту у Александра объясняется свойственным ему формализмом. Ген. Ермолов говорил, что любовь к «симметрии» у Александра являлась наследственной хронической болезнью. Сенатор Фишер¹⁴ рассказывает, что Александр сердился, если лист бумаги на котором ему представлялся доклад, был $\frac{1}{8}$ дюйма больше или меньше обыкновенного. Если первый взмах пера не выделывал во всей точности начало буквы А, император не подписывал указа... Вряд ли все эти черты пришли Александру из Гатчины. Казарменный режим царствования Павла лишь усилил природные склонности Александра, которые не могли смягчить полученное им образование. Оно было в действительности слишком поверхностно, слишком рано кончилось, не дав ему ни реальных знаний, ни дисциплины ума, ни самой элементарной привычки к умственной работе.

При той праздности и лености, которую отметил в своем дневнике Протасов еще в 1792 г., не могло быть и речи о глубоком образовании, какое было, легко выветривалось на вахтпарадах. Мы можем лишь пожалеть, что живой и проницательный ум и возвышенные нравственные качества, которые отмечают воспитатели Александра, не получили развития и совершенно стусеивались перед отрицательными чертами его характера. Эти отрицательные черты отметили те же воспитатели: «лишнее самолюбие», «упорство во мнениях, т. е. упрямство», «некоторую хитрость» и желание «быть всегда правым». Александра можно было бы упрекнуть в «притворстве», пишет один из этих ранних наблюдателей характера великого князя, если бы его осторожность «не следовало приписать скорее тому натянутому положению, в котором он находился между отцом и бабушкой, чем его сердцу, от природы искреннему и открытому». Юность всегда скрадывает недостатки, она всегда до некоторой степени искажена. Но затем эти недостатки вырисовываются уже более рельефно. Однако и в юности неискренность Александра может удивить. Он пишет письмо Екатерине, в котором соглашается на устранение Павла от престола, а накануне в письме к Аракчееву называет отца «Его Императорское Величество». В 1799 г. Аракчеев получает отставку. Александр, узнав, что на место его назначен Амбразанцев¹⁵, выражает большую радость в присутствии людей, ненавидевших павловскую креатуру. «Ну, слава Богу... Могли попасть опять на такого мерзавца, как Аракчеев». А между тем незадолго до такого отзыва Александр изливается в дружбе и любви к этому «мерзавцу» и через две недели вновь пишет к своему «другу». С некоторой наивностью Мария Федоровна в 1807 г. дает мудрый совет своему сыну: «Вы должны смотреть на себя, как на актера, который появляется на сцене». Но Александр и так уже был хорошим актером. Проявляя самую нежную внимательность и почтительность к матери, он в то же время подвергает перлюстрации письма вдовствующей императрицы, следит за ее отношениями к принцу Евгению Вюртембергскому¹⁶, опасаясь материнского властолюбия.

В жизни Александр всегда, как на сцене. Он постоянно принимает ту или иную позу. Но быть в жизни актером слишком трудно. При всей сдержанности природные наклонности должны были проявляться. Не этим ли следует объяснить отчасти и противоречия у Александра? Понятно, что при таких условиях Александр производил самое различное впечатление на современников. Их отзывы донельзя противоречивы. Правда, показания современников очень субъективны, далеко не всегда им можно безусловно доверять. Малую ценность для историка имеет официальное виршество Державина,

его поэтическое предвидение высоких дарований нового императора: восторженно приветствуя одой восшествие на престол Александра, екатерининский гений с такой же восторженностью перед тем приветствовал и Павла. Мы не придадим ценности масонским приветственным песням: «он — блага подданных рачитель, он — царь и вместе человек». Ведь это тоже полуофициальное виршество. Но когда люди различных лагерей сходятся в определении черт характера, когда панегиристы отмечают отрицательные его стороны, когда эти отзывы совпадают с фактами, которые мы знаем, тогда мы имеем полное право доверять таким показаниям современников. И факты лишь объясняют то, что современникам казалось непонятным в загадочной личности императора Александра.

Среди голосов современников наибольшую, конечно, ценность имеют те, которые изображают нам непосредственные впечатления. Впрочем, кратковременное знакомство неизбежно приводило весьма часто к обманчивому впечатлению. Так было с г-жой Сталь. Она была в восторге от Александра, увидев в нем «человека замечательного ума и сведений». «Государь, ваш характер есть уже конституция для вашей империи, и ваша совесть есть ее гарантия», — сказала известная своей наблюдательностью французская писательница. Она очень плохо поняла императора, и ее слова в 1812 г. после ссылки невинного Сперанского могли звучать, скорее, иронией. Александр скромно отвечал г-же Сталь: «Если бы это было и так, я все-таки был бы только счастливой случайностью». Также обольщен был и знаменитый Штейн¹⁷. «Александр только и думает о счастье подданных и, окруженный несочувствующими людьми, не имея достаточной силы воли, принужден обращаться к оружию лукавства и хитрости для осуществления своих целей». Но сам император «постоянно действует блестящим и прекрасным образом: нельзя достаточно изумляться тому, до какой степени этот государь способен к преданности делу, к самопожертвованию, к одушевлению за все великое и благородное».

Несколько уже другой тон звучит в 1823 г. в отзыве французского посла графа Лафероне: «Я всякий день более и более затрудняюсь понять и узнать характер императора Александра. Едва ли кто может говорить с большим, чем он, тоном искренности и правдивости... Между тем частые опыты, история его жизни, все то, чему я ежедневный свидетель, не позволяют ни чему вполне доверяться... Самые существенные свойства его — тщеславие и хитрость или притворство; если бы надеть на него женское платье, он мог бы представить тонкую женщину». Этот отзыв об Александре передает в своих записках Фарнгаген¹⁸. Отсутствие правдивости и прямодушия отметит нам и панегирист Александра — Алисон. Притворство,

по словам Михайловского-Данилевского¹⁹, человека близко сталкивавшегося с Александром, составляет «одну из главных черт характера» императора. «Я сохраню навсегда истинное уважение к великим его дарованиям, но не испытываю одинаковых чувств к личным его свойствам». Непостоянство Александра прекрасно видели его друзья: «Поверь мне, — говорил кн. П. М. Волконский Данилевскому, — что через неделю после моей смерти обо мне забудут». Полагаться на благосклонность Александра нельзя — это общий голос всех его друзей. Александр всегда говорил, что он не переменчив. И может быть, только по отношению к Аракчееву это было до некоторой степени так. То непостоянство, которое мы видим в отношении Александра к женщинам, всецело распространялось и на его друзей. Иначе и не могло быть при том болезненном самолюбии, которое отличало Александра, — отличало, как мы видим, еще в детские годы. Он был самолюбив до крайности и вместе с тем злопамятен. «Государь так памятен, — говорит Трощинский²⁰, — что ежели о ком раз один услышит худое, то уже никогда не забудет». Александр всегда жаловался, что у него нет людей, что он окружен бездарностями, глупцами и мерзавцами. И, однако, как метко заметил Кочубей Сперанскому: «Иные заключают, что государь именно не хочет иметь людей с дарованиями!» Способности подчиненных как будто даже ему неприятны: «Тут есть что-то непостижимое и чего истолковать не можно», — добавляет Кочубей. Но в действительности у человека болезненно самолюбивого, стремящегося играть во всем первенствующую роль, черта эта совершенно естественна и понятна. Александр не переносил, когда обнаруживалась какая-нибудь его слабость, даже не слабость, а намеки на то, что он поступил под чьим-либо влиянием. Шишков из авторского самолюбия неосмотрительно сообщил великой княгине Екатерине Павловне, что он автор записки, побудившей Александра в 1812 г. оставить армию. Когда это обнаружилось, Шишков принужден был оставить должность государственного секретаря. Сперанский на себе более, чем кто-либо, испытал непостоянство Александра. Александр, конечно, не верил в его измену. По словам Лористона²¹, «главная вина Сперанского состояла в нескромных отзывах об императоре». Поддаваясь в данном случае требованиям реакционных кругов, Александр отнюдь не хотел признаться в этой слабости и с гневом рассказывал проф. Парроту²² об измене Сперанского. Перед Сперанским он был другим: «На моих щеках были его слезы», — рассказывал Сперанский. А потом тщетно Сперанский старается оправдаться перед Александром: его письма систематически остаются без ответа. Очевидно, Греч²³ в значительной степени был прав, сказав про злопамятность Александра: он никогда

прямо не казнил людей, а «преследовал их медленно со всеми на- ружными знаками благоволения и милости: о нем говорили, что он употребляет кнут на вате». Александр неоднократно говорил, что он любит правду, любит ее сам говорить, любит ее и слушать. «Вы знаете,— писал он Екатерине Павловне,— что я не люблю создавать себе иллюзий, я люблю видеть все так, как оно есть на самом деле». «Я слишком правдив,— писал он Ростопчину по известному делу Верещагина²⁴,— чтобы говорить в вами иначе, как с полной откровенностью. Его казнь была не нужна, в особенности ее отнюдь не следовало производить подобным образом. Повесить или расстрелять было бы лучше». Это писал Александр 6 ноября 1812 г., когда невиновность Верещагина была ясно доказана, когда против Ростопчина говорило все общественное мнение, возмущенное жестокой расправой. Александр мог в 1801 г. сказать Ламбу, возражавшему против какого-то распоряжения по военной части: «Ах, мой друг, пожалуй, говори мне чаще: не так. А то ведь нас балуют». Ответ этот привел в восторг И. М. Муравьева-Апостола²⁵, сообщавшего в письме к С. Р. Воронцову²⁶ «все подобного рода анекдоты нынешнего восхитительного царствования». Но в действительности Александр не терпел, когда ему говорили правду. Он никогда не мог простить Карамзину резкость тона в его записке, порицавшей начинания первых лет царствования, показывавшей ошибки Александра, с чем, под влиянием событий, Александр чувствовал себя вынужденным согласиться. Он не мог переварить малейшей откровенности, малейшей критики и порицания своих действий. Весьма не понравились Александру возражения старика И. В. Лопухина²⁷ против милиции в 1806 г. Лопухин высказался против побуждения со стороны правительства к денежным пожертвованиям и упоминал лишь о том, что он видел «от того ропот даже не между бедным купечеством». Болезненное самолюбие проявлялось даже в таких мелочах. Сам если не масон, то якобы сочувствующий масонству, Александр посещает ложи «Трех добродетелей». А. Н. Муравьев, согласно масонскому обычаю, давая объяснения императору, обращается к нему на «ты», как к брату. Александр был сильно шокирован подобным обращением и впоследствии не забыл этой карбонарской выходки будущего декабриста.

Крайним самолюбием и в то же время жаждой популярности можно объяснить много загадочных противоречий в деятельности Александра. Искание популярности, желание играть мировую роль, пожалуй, и были главными стимулами, направляющими деятельность Александра. Как человек без определенного мирозерцания, без определенных руководящих идей, он неизбежно должен был бросаться из стороны в сторону, улавливать настроения, взвешивать

силу их в тот или иной момент и, конечно, в конце концов, подлаживаться под них. Отсюда неизбежные уколы самолюбия, раздражение, сознание утрачиваемой популярности. Быть может, такова неизбежная судьба всякого игрока, — и особенно в области политики. Доведенная даже до артистического совершенства подобная игра должна была привести к отрицательным результатам. Таков и был конец царствования Александра I, когда в сущности недовольство охватывало и реакционные и либеральные круги русского общества. Реформаторские порывы, парализованные своей половинчатостью, не удовлетворяли и тех, на кого мог опереться Александр и у кого он снискал популярность на первых порах, не удовлетворили они и тех, кто свято блюл заветы старины. Глубоко ошиблась Екатерина в своем предвидении: «Я оставлю России дар бесценный — Россия будет счастлива под Александром». А между тем мы знаем, что Александр начал царствовать при самых благоприятных условиях. Его воцарение было встречено дворянством с восторгом. «После ужасной бури, бури преужасной, днесь настал нам день прекрасный», — распевала гвардия. «Наш ангел», — писал о нем упомянутый Муравьев-Апостол. Невозможно, конечно, сказать, каковы были задушевные мысли самого Александра. Вряд ли, однако, Александр был так наивен, чтобы думать, что «достаточно пожелать добра, чтобы осчастливить людей», и что благоденствие само водворится без всяких усилий с его стороны. Быть может, в его голове и роились грандиозные планы реформы «безобразного здания империи», убаюкивающие его самолюбие. Его туманные мечтания давали повод говорить о его величии, о молодом монархе, который горит желанием «улучшить положение человечества»; предрекать, что Александр вскоре получит в Европе преобладающее влияние; намекать на то, что это крайне нежелательно «для некоторых равных Александру по могуществу, но бесконечно ниже его стоящих по мудрости и доброте», т. е. намекать, что Александр может явиться достойным соперником великого Наполеона, как это делал Стон в письме к Пристлею²⁸. Наполеон нес с собой деспотизм. «Ныне это — знаменитейший из тиранов, каких мы находим в истории, — писал Александр в 1802 г. по поводу объявления Наполеона пожизненным консулом. — Завеса упала; он сам лишил себя лучшей славы, какой может достигнуть смертный... доказать, что он без всяких личных видов работал единственно для блага и славы своего отечества». Именно таким бескорыстным деятелем должен был стать сам Александр, с тяжелым сердцем отказавшийся от добровольного изгнания, от своих мечтаний блаженствовать в сельском уединении, променявший скромную ферму на порфирную корону только для того, чтобы посвятить себя «задаче даровать стране свободу».

Нельзя забывать и того, что этот либерализм диктовался условиями времени. Русское дворянство, отнюдь не склонное к мечтательным идиллиям о человеческом благе, еще менее чувствовало симпатии после кошмарного царствования Павла к проявлению самодержавного деспотизма; в нем достаточно сильны были олигархические тенденции. Обещание царствовать по законам Екатерины означало водружение старого знамени — дворянской монархии. И первые либеральные меры Александра с восторгом встречались безотносительно к их либерализму — это была оппозиция прошедшему «царствованию ужаса».

Если событие 11 марта 1801 г. «подобно коршуну терзало его (Александра) чувствительное сердце», если «наподобие гетевскому Фаусту» ничто не могло «заглушить в нем немолчного голоса совести», то в равной мере на него действовало и впечатление страха. Недаром Завалишин²⁹ отмечает в своих записках, что, по мнению некоторых, начальные действия Александра «легко объясняются необходимостью скрывать истинное свое мнение и расположение, как вследствие обстоятельств, сопровождающих его вступление на престол, так и страхом, который наводили Наполеон и Франция, — страхом, заставлявшим и всех государей искать опоры и противодействия в привязанности народа — и возвышении их духа». Плохо разбирался в условиях русской жизни Стон, писавший Пристлею об Александре: «Этот молодой человек почти с таким же макиавелизмом выкрадывает деспотизм у своих подданных, с каким другие государи “выкрадывают” свободу у своих сограждан». Хорошо знавший Александра Чарторийский дал совсем другой отзыв, более близкий к реальной действительности: «Император любил внешние формы свободы, как можно любить представление. Он любовался собой при внешнем виде либерального правления, потому что это льстило его тщеславию; но кроме форм к внешности, он ничего не хотел и ничуть не был расположен терпеть, чтобы они обратились в действительность, — одним словом, он охотно согласился бы, чтобы каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли одну только его волю». Аналогичные свидетельства мы имеем и у других современников. Этой чертой и следует объяснять «странное смешение философских поверий XVIII в. с принципами прирожденного самовластия», которое отличало Александра и, по мнению Корфа³⁰, являлось результатом воспитания «ни вполне царского, ни вполне философского». При самом вступлении на престол Александра «из некоторых его поступков, — записывает ген. Тучков, — виден был дух неограниченного самовластия, мщениия, злопамятности, недоверчивости, непостоянства в обещаниях и обманов». Этот дух действительно

был замечен, что и дало повод А. И. Тургеневу³¹ говорить, что лучше деспотизм Павла, чем «деспотизм скрытый и переменчивый», какой был у императора Александра.

Республиканец на словах, Александр в то же время имел твердое представление о власти самодержавной, как об установлении божественном. Понятно, что при таком воззрении в его либеральных мероприятиях не было «энтузиазма», как отмечает современник. Правда, отсутствие этого энтузиазма современник объясняет тем, что либеральные мысли Александра не были связаны с «диким и чудаческим представлением о свободе». Но естественно предположить другое. Вспомним, что на практике либерализм Александра не выдержал самого элементарного экзамена на первых же порах. Сенату, как известно, в 1802 г. было дано право делать представления государю по поводу указов, несогласных с прочими узаконениями. Это право современники были готовы уже рассматривать «как ограничение самодержавной воли монарха». Но император в действительности на первых же порах «обнаружил полную нетерпимость к самому законному и умеренному проявлению самостоятельных взглядов» сенаторов. И когда Сенат однажды воспользовался своим правом, он вызвал глубочайший гнев Александра: «Я им дам себя знать». И было растолковано, что Сенат вправе обсуждать лишь законы, изданные в предшествующие царствования, делать представления по поводу их отмены, но не должен касаться законоположений, изданных царствующим государем. А между тем только за год перед тем Александр говорил, что он не признает «на земле справедливой власти, которая бы не от закона истекала»; когда ему подносили для подписи «Указ нашему Сенату», он восклицал: «Как нашему Сенату! Сенат есть священное хранилище законов: он учрежден, чтобы нас просвещать», и своим восклицанием приводил в умиление корреспондента гр. Воронцова. Таков был Александр, когда эпитет «ангел во плоти» был у всех на устах. Но играя в либерализм, Александр не сумел уловить тон господствующих настроений в дворянской среде. Естественно, что и политические консерваторы, и политические англomаны-олигархи одинаково оказывались в числе неудовлетворенных и недовольных. Это недовольство очень скоро стало проявляться в общественных кругах. О петербургских «coteries» сообщается уже в 1805 г. Александр уже восстановил Тайную экспедицию для наблюдения за вольномыслием, запрещенными сходбищами, вредными сочинениями и т. д. Глубоко прав был Н. Д. Свербеев³², заметивший, что Александр, «вопреки всем прекрасным качествам сердца, не оставлял без преследования ни одной грубой выходки крайнего либерализма и имел обыкновение отрезвлять иногда очень долгим заточением или

ссылкой тех, которые считались противниками его верховной власти». Припомним хотя бы позднейшую печальную судьбу лифляндского Бока³³, заключенного за свою конституционную записку в 1818 г., направленную при письме Александру, в Шлиссельбургскую крепость и прибывавшего там до конца дней Александра.

Александр был «слишком философ», как выразился Жозеф де Местр, чтобы заниматься черновой домашней работой, которая не сулила сделать его великим человеком. Александр мечтал о более широком поприще славы; в нем явно сказывалось, по словам Фонвизина, «притязание играть первенствующую роль в политической системе Европы, оспаривать первенство у Франции, возвеличенной счастливыми революционными войнами». В излишней самоуверенности Александр слишком торопился «играть роль в Европе». Он воображал себя великим полководцем. Но мог ли им быть тот, кто все воинские искусства видел в парадах, кто из всей военной тактики Наполеона заимствовал лишь эполеты тамбур-мажоров³⁴? Говорят, что Александр проявлял личную храбрость. Так по крайней мере свидетельствует Жозеф де Местр, и позднее Шишков. Но соперничество с Наполеоном на поприще брани привело лишь к поражению Александра. Его боевая слава померкла, не успев расцвести, на полях Аустерлица, что весьма чувствительно отзывалось на самолюбии Александра.

В то же время Александр знал о тех оппозиционных настроениях, о тех мнениях, которые вращались в обществе и о которых ему, между прочим, сообщала вдовствующая императрица в письме от 18 апреля 1806 г. Она констатирует, что недовольство существует и в столицах и в провинции. Публика, «не видя государя в ореоле славы, критикует вольно». Еще одно проигранное сражение, и империя окажется в опасности. Россия утратила свое былое влияние в международной политике. «Кто знает, что в это время делается в Петербурге!» — сказал, по словам де Местра, кто-то из придворных после Аустерлица, и это достаточно, чтобы Александр скакал в Петербург. А здесь, как сообщат Стединг³⁵, 28 сентября 1807 г. говорят даже о заговоре, о возведении на престол Екатерины Павловны. Конечно, все это вздорные слухи, показывающие, однако, некоторый поворот в обществе по отношению к Александру. И недаром появление Аракчеева де Местр объясняет внутренним брожением: Александр захотел «поставить с собой рядом пугало пострашней»...

Французский историк Вандаль³⁶ так охарактеризовал значение Тильзита: это «искренняя попытка к кратковременному союзу на почве взаимного обольщения». Трудно, конечно, сказать, насколько искренен был Александр в своем обольщении Наполеоном; насколько

искренен был он, когда говорил Савари³⁷: «Ни к кому я не чувствовал такого предубеждения, как к нему (т. е. Наполеону), но после беседы... оно развеялось, как сон». Может быть, здесь сказывалось то «в высшей степени рассчитанное притворство», о котором упоминает Коленкур³⁸ и которое в области дипломатии у Александра доходило до виртуозности. В этом, по-видимому, солидарны все современники. «Александр умен, приятен, образован, но ему нельзя доверять; он неискренен: это истинный византиец... тонкий, притворный, хитрый», — сказал Наполеон уже на о. св. Елены. «В политике, — писал шведский посол в Париже Лагербиелне, — Александр тонок, как кончик булавки, остер, как бритва, и фальшив, как пена морская». «Искренний, как человек, Александр был изворотлив, как грек, в области политики» — таков отзыв Шатобриана³⁹. И действительно, к международной дипломатии, где искренность всегда затушевана политическим расчетом, характер Александра I чрезвычайно подходил. И, может быть, он очень тонко вел свою линию от Тильзита до двенадцатого года.

Это была выжидательная неопределенность — «изменятся обстоятельства, можно изменить и политику». Пока же союз с Наполеоном был неизбежен, по крайней мере для авторитетного положения Александра в европейских делах. Этим только и следует объяснять новую французскую политику Александра, а вместе с тем и либеральные начинания эпохи Сперанского. Конечно, Александр никогда серьезно не думал осуществлять широкие замыслы Сперанского, весьма скептически относившегося к конституционным мечтаниям «на словах». Хотя Сперанский и говорит о своем проекте 1809 г., что он был «принят как руководящее начало действия и как неизменная норма всех предстоящих и желательных преобразований», однако в действительности Александр отнюдь не был склонен поступаться прерогативами монарха. Он жаловался впоследствии де Санглену⁴⁰: «Сперанский вовлек меня в глупость». Ему нужны были лишь практические меры Сперанского, так сказать, минимальная реформа, которая придала бы некоторую хотя бы стойкость «безобразному зданию империи». В этих реформах была слишком осязательная потребность ввиду предвидения неизбежного столкновения России с Францией.

